Михаил БУЛГАКОВ

Сочинения

Собачье сердце

Михаил Афанасьевич Булгаков

Аннотация
Михаил Булгаков. СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Эпилог
[Из творческой истории повести «Собачье сердце»]

Аннотация

«Собачье сердце» — одно из самых любимых читателями произведений Михаила Булгакова. Этот вариант текста, пришедший из там/самиздата — не вполне булгаковский, с сотнями произвольных искажений. О нем можно сказать, что это — повесть, которой Булгаков не писал, но именно ее прочитали все.

Михаил Булгаков
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

I

У-у-у-у-у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой Нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой — как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар»

жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя — все равно, что калошу лизать… У-у-у-у-у…

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая травка, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поет на кругу при луне — «милая Аида» — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас… Живуч собачий дух.

Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать

на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу…

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь

обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и все с красным вином. Да… Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной в «Бар» не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает… Подумать только: сорок копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вон она… Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты не изящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет

с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне… Куда пойду? У-у-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик… Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух…

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой… Какая погода… Ух… И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что

мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. «Шарик» — она назвала его… Какой он к черту «Шарик»? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит

сто́ишь… р-р-р… гау-гау…

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом… Чего ищет? У-у-у-у… Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне.

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложе-

ние?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у… Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и

отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у!

— Фить-фить,— посвистал господин и добавил строгим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте, как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что...— Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по шарикову животу.

— А-га,— многозначительно молвил он,— ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной.— Он пощелкал пальцами.— Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел

нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью — как бы не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света невзвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа.

Ф-р-р-р…гау! Вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить!

Сюда? С удово… Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе.

— Да не бойся ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуй, Федор.

Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродо-

вал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович,— интимно вполголоса вдогонку: — А в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились, и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает, что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй… Фить-фить.

Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот — бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью МСПО — мясная торговля. Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут

же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее пошло еще успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом и «Б» — подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли…», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, псов же постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины

и лежали мандарины… гау-гау… га… строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью… Ве-и-ви-нэ-а — вина… Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первые буквы он сложил сразу: «Пэ-ер-о — Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. «Неужто пролетарий? — подумал Шарик с удивлением…— Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а бог его знает — что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю»,— подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик,— иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на чернобурой лисе с синеватой искрой.— Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить… да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши… да стой ты, черт… Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар-каторжник, повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина,— скомандовал господин,— в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет…— мысленно завыл пес,— извините, не дамся! Понимаю, о черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими

инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?..— кричала отчаянно Зина.— Вот окаянный!

«Где у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, с-скотина,— кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги.— Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

— Ба… Батюшки, вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. «Спасибо, кон-

чено,— мечтательно думал он, валясь прямо на острые стекла: — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина, и пролетариев, и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодеры, за что же вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

* * *

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бо́ка же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети,— подумал он смутно,— но ловко, надо отдать им справедливость».

— «От Севильи до Гренады… в тихом сумраке ночей»,— запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пес.— Это, стало быть, я

его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!»

— «Р-раздаются серенады, раздается стук мечей!» Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

— У-у-у,— жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно

было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит… «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой…»

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь

полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись,— приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с острой бородкой, подал лист и молвил:

— Прежний…

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал,— в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана,— а сову эту мы разъясним…»

Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко…

— Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.

— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор,— сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик,— скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Исусе,— подумал пес,— вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

Тяу, тяу!..— он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо,— конфузливо заговорил посетитель.— Пароль д'оннёр [1] — двадцать пять лет ничего подобного,— субъект взялся за пуговицу брюк,— верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник.

---

[1] Примечания: 1

Честное слово (Parole d'honneur.— *франц.*).

— Хм,— озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались не виданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами.

Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал его и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите,— предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем,— все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

— Я не зло...— смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться,— я, дорогой профессор, только в виде опыта.

— Ну, и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— Двадцать пять лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в тысяча восемьсот девяносто девятом году в Париже на Рю де ла Пэ [2].

— А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

— Проклятая Жиркость! [3] Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите,— бормотал субъект, ища глазами зеркало.— Им морду нужно бить! — свирепея, добавил он.— Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм, обрейтесь наголо.

— Профессор,— жалобно восклицал посетитель,— да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой,— бормотал Филипп Филиппович.

---

[2] Примечания: 2

Улица Мира (Rue de la Paix.— *франц.*) — одна из самых шикарных улиц Парижа.— *Libens.*

[3] Примечания: 3

«Жиркость» — трест по изготовлению косметических средств.

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

— Ну, что ж — прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. «Много крови, много песен...» Одевайтесь, голубчик!

— «Я же той, что всех прелестней!..» — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться,— сказал Филипп Филиппович,— но все-таки прошу вас: будьте осторожны.

— Профессор! — из-за двери в экстазе воскликнул голос,— будьте совершенно спокойны,— он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно, пятьдесят четыре-пятьдесят пять. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим ко-

лье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

— Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.

— Честное слово… Ну, сорок пять…

— Сударыня,— возопил Филипп Филиппович,— меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

— Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь — это такой ужас…

— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

— Пятьдесят один! — корчась от страху, ответила дама.

— Снимайте штаны, сударыня,— облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

— Клянусь, профессор,— бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе,— этот Мориц... Я вам признаюсь, как на духу...

— «От Севильи до Гренады...» — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках.— Я знаю — это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод.— Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами.

«Ну вас к черту,— мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда,— и стараться не буду понять, что это за штука — все равно не пойму».

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с на-

деждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

— Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны,— объявил он и посмотрел строго.

— Ах, профессор, неужели обезьяны?

— Да,— непреклонно ответил Филипп Филиппович.

— Когда же операция? — бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

— «От Севильи до Гренады…» Угм… в понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — пятьдесят червонцев.

— Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста… потом взволнованный голос тявкнул над головой.

— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

— Господа,— возмущенно кричал Филипп Филиппович,— нельзя же так! Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор… Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик… Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор.

— Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.

«Похабная квартирка,— думал пес,— но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь… Наглая».

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» — удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор,— заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос,— вот по какому делу…

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду,— перебил его наставительно Филипп Филиппович,— во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа,— молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-первых,— перебил и его Филипп Филиппович,— вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина,— признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папахе.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор,— внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не милостивый государь,— резко заявил блондин, снимая папаху.

— Мы пришли к вам,— вновь начал черный с копной.

— Прежде всего — кто это мы?

— Мы — новое домоуправление нашего дома,— в сдержанной ярости заговорил черный.— Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы…

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

— Нас,— ответил Швондер.

— Боже, пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился

Швондер.

— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии,— крикнул Филипп Филиппович,— что же теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома,— с ненавистью заговорил Швондер,— пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома…

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович.— Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от двенадцатого сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно,— ответил, Швондер,— но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах,— от-

ветил Филипп Филиппович,— и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе,— проговорил блондин, лишенный головного убора,— однако, это здорово.

— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная — заметьте — она же библиотека, столовая, мой кабинет — три. Смотровая — четыре. Операционная — пять. Моя спальня — шесть и комната прислуги — семь. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь,— сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь,— перебил его Швондер,— вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан,— звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и

он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также,— продолжал Швондер,— смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу,— молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом,— а где же я должен принимать пищу?

— В спальне,— хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу,— заговорил он слегка придушенным голосом,— в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!..— вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой.— Я буду обедать в столовой, оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия,— сказал взволнованный Швондер,— мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага,— молвил Филипп Филиппович,— так? — и голос его принял подозрительно вежливый оттенок.— Одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень,— в восторге подумал пес,— весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще — каким способом, но так тяпнет… Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие… р-р-р…»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста… да… благодарю вас… Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России… Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью

отнять часть ее.

— Позвольте, профессор,— начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините… У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать… Мне самому очень неприятно… Как? О, нет, Петр Александрович! О, нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм… Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них

умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага… Ну, это другое дело. Ага… Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны,— змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру,— сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор,— сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая,— вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да… Председатель домкома… Мы же действовали по правилам… Так у профессора и так совершенно исключительное положение… Мы знаем об его работах… Целых пять комнат хотели оставить ему… Ну, хорошо… Раз так… Хорошо…

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес.— Что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а я отсюда не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил

тот.

— Если бы сейчас была дискуссия,— начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем,— я бы доказала Петру Александровичу…

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем… Только я, как заведующий культотделом дома…

— За-ве-дующая,— поправил ее Филипп Филиппович.

— Хочу предложить вам,— тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов,— взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму,— кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор,— заговорила девушка, тяжело вздохнув,— если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата,— печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина,— крикнул Филипп Филиппович,— подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

III

На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом,— икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды»! — подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

— Сюда их,— хищно скомандовал Филипп Филиппович.— Доктор Борменталь, умоляю вас,

оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец-тяпнутый — он был уже без халата, в приличном черном костюме — передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

— Новоблагословенная? — осведомился он.

— Бог с вами, голубчик,— отозвался хозяин.— Это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная — тридцать градусов.

— А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, это во-первых,— наставительно перебил Филипп Филиппович,— а во-вторых,— бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову?

— Все, что угодно,— уверенно молвил тяпнутый.

— И я того же мнения,— добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло,— ...мм... доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... я ваш кровный враг

на всю жизнь. «От Севильи до Гренады…»

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.

— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович.— Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно,— искренно ответил тяпнутый.

— Еще бы… Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их великолепно приготовляли в «Славянском базаре». На, получай.

— Пса в столовой прикармливаете,— раздался женский голос,— а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего. Бедняга наголодался,— Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнущий ра-

ками пар; пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

— Гм… Да ведь других нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел тридцать наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду»,— теряли в весе.

— Гм…— с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

— Вот черт…

— Да-с. Впрочем, что ж это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение,— думал он, захлопывая отяжелевшие веки,— глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.

— Сен-Жюльен — приличное вино,— сквозь сон слышал пес,— но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягченный потолками и коврами хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое значит?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович,— ответила Зина.

— Опять! — горестно воскликнул Филипп

Филиппович— Ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович,— заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович.— Ведь это какой дом был — вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович,— возразил красавец-тяпнутый,— они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно…

«Ерунда — калоши. Не в калошах счастье,— подумал пес,— но личность выдающаяся».

— Не угодно ли — калошная стойка. С тысяча девятьсот третьего года я живу в этом доме.

И вот, в течение этого времени до марта тысяча девятьсот семнадцатого года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом н и о д н о г о, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квартир, у меня прием. В марте семнадцатого в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а

пачкает мрамор?

— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош,— заикнулся было тяпнутый.

— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина.— Гм... я не признаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной тысяча девятьсот семнадцатого года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок.) Ни в коем случае! Это сделали вот эти самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

— Разруха, Филипп Филиппович.

— Нет,— совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович,— нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция,— Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти.— Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: — Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит

из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом,— разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более — людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать,— мутно мечтал пес,— первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют».

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович.— Городовой! — «Угу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса...— Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович,— шутливо заметил тяпнутый,— не дай бог вас кто-нибудь услышит.

— Ничего опасного,— с жаром возразил Филипп Филиппович.— Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается? Черт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки

и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «Мерси».

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, сорок рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом — «Аида». А я давно не слышал. Люблю… Помните? Дуэт… Тари-ра-рим.

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится,— назидательно объяснил хозяин.— Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел,— под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир,— начало

девятого… Ко второму акту поеду… Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух… Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович,— патологоанатомы мне обещали.

— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживет.

«Обо мне заботится,— подумал пес,— очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки… Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг — сон? (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь… и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди… Столовая, снег… Боже, как тяжело мне будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами

расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса-красавца.

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито,— размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях.— Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на восемнадцать копеек, достаточно упомянуть обеды в семь вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной

Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз,— возмущенно говорила Зина,— а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

— Никого драть нельзя,— волновался Филипп Филиппович,— запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — как он не лопнет.

— Ну и пусть ест на здоровье… Чем тебе поме-

шала сова, хулиган?

— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались,— расстроенно докладывала Зина,— ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте».

— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе восемь рублей и шестнадцать

копеек на трамвай, съезди к Мюру [4], купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он — просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка — какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:

— Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп

---

[4] Примечания: 4

Универсальный магазин на Петровке, принадлежавший торгово-промышленному товариществу «Мюр и Мерилиз»; с 1922 г. —Центральный универсальный магазин (ЦУМ).— *Libens.*

Филиппович. И удивительно жирный.

— Еще бы — за шестерых лопает,— пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник — все равно, что портфель»,— сострил мысленно пес, и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещен — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились двадцать два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах…

— Вон! — завопила Дарья Петровна.— Вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

«Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил

глаза пес.— Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» — и он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.

Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на

теплой плите, как лев на воротах и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него.

— Как демон пристал,— бормотала в полумраке Дарья Петровна,— отстань! Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

— Нам это ни к чему,— плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый.— До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами, и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле. Огней под потолком не было. Горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих

резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.

— «К берегам священным Нила…»,— тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в песьей шкуре оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

«Зинка в кинематограф пошла,— думал пес,— а как придет, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать,— телячьи отбивные!»

* * *

В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел безо всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днем после того, как Зина сводила

его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично,— послышался его голос,— сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

— Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире»,— раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привез с собой

дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад,— ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан.

«Кто такое умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги.— Терпеть не могу, когда мечутся».

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина.— Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас — скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится»,— пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото»,— ре-

шил пес и вдруг получил сюрприз.

— Шарику ничего не давать,— загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же.

— Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство,— подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате,— просто глупо…»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно…

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович,— думал он,— две пары уже пришлось прикупить и еще одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности — солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать,— тосковал пес, сопя носом,— привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция… Бред этих зло-

счастных демократов...»

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

— У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять»,— бешено, но бессильно подумал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь раскрылась. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно.— Бок зажил — ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было все в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук.

Руки — в черных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол.

— Ошейник, Зина,— негромко молвил Филипп Филиппович,— только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее.

«Что же... вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со мной...»

Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутнящий запах разлился от него.

«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» — подумал пес и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор,— нетерпеливо молвил Фи-

липп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей...— мелькнуло в голове.— За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загребные [5], небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.

---

[5] Примечания: 5

Так в таллиннском издании. В минском и во всех иных редакциях — «загробные».— *Libens.*

IV

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно.

— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету.— Он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не

села на черную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комочком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его

жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семен-

ные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу,— затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— Четырнадцать минут делали,— сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой так, что они шли кругом всего черепа.

На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает…

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже.

Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу,— зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профессор,— все равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле,— робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет не живет,— засипел страшный Филипп Филиппович,— я в седле. Все равно помрет… ах, ты че… «К берегам священным Нила…» Придаток давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — «Не имеет равных в Европе… ей-богу!»,— смутно подумал Борменталь,— он выхватил

болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс,— ответил Борменталь.

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина

появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

V

Из дневника доктора Борменталя

Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталя. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.

22 декабря 1924 г. Понедельник.

История болезни

Лабораторная собака приблизительно 2-х лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес 8 кг *(знак восклицат.)*. Сердце, легкие, желудок, температура…

23 декабря. В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками,

взятые от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшиеся в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Пре-

ображенскому, физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор Московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура — нормальна.

(Запись карандашом:)

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдаленно напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало

неожиданный результат — вес 30 кг за счет роста (удлинения) костей. Пес по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

(В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком:)

В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял А-б-ыр.

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано:)

1 декабря. (Перечеркнуто, поправлено:) 1 января 1925 г. Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня *(крупными буквами)* засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес восемь раз подряд слово «Абыр-валг», «Абыр».

(Косыми буквами карандашом:) Профессор расшифровал слово «Абыр-валг», оно означает «Главрыба»… Что-то чудовищ…

2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(В тетради вкладной лист.)

Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преобра-

женского.

В 1 час 13 мин.— глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура Валериана.

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

— ——————

(Перерыв в записях.)

6 января. (То карандашом, то фиолетовыми чернилами:)

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает что такое.

— ——————

Я теряюсь.

— ——————

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышатся явственно вульгарная ругань и слова «еще парочку».

7 января. Он произносит очень много слов: «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на

голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

— ———————

Ей-богу, я с ума сойду.

— ———————

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. *(Фонограф, фотографии.)*

— ———————

По городу расплылись слухи.

— ———————

Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка: «Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О каком, к черту, марсианине? Ведь это — кошмар.

— ———————

Еще лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись: «Проф. Преобра-

женский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неописуемое… Он говорит новое слово «милиционер».

— ———————

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и т. д.

— ———————

Что творится во время приема! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут…

— ———————

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку — перемена гипофиза дает не омоложение, а полное о ч е л о в е ч е н и е *(подчеркнуто три раза).* От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он

стойко держится на задних лапах *(зачеркнуто)*... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо произнесенное слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

— Перестать!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться,

видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да… „От Севильи до Гренады…“ Москвошвея, дорогой доктор…» Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Америки», «Примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам, изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)

Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу: «Дай папиросочку,— у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол»,— неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал:

— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздраженно, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «Ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важно: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. *(Клякса.)*

Впрочем, я уклонился в сторону… Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все

слова, которыми он начал оперировать в первую очередь,— уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

— ———————

Шарик читал. Читал *(три восклицательных знака)*. Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерыве зрительных нервов у собаки.

— ———————

Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о свето-преставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось… Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.

— ——————

С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

— ——————

(В тетради вкладной лист.)

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет [6], холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-Сигнал» у Преображенской заставы).

— ——————

Старик, не отрываясь, сидит над Климовской болезнью. Не понимаю — в чем дело. Бурчал что-

---

[6] Примечания: 6

В тексте расхождение. Выше возраст донора — 28 лет.

то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем дело — не понимаю. Не все ли равно, чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился:

а) совершенный человек по строению тела;

б) вес около 3-х пудов;

в) рост маленький;

г) голова маленькая;

д) начал курить;

е) ест человеческую пищу;

ж) одевается самостоятельно;

з) гладко ведет разговор.

— ————————

Вот так гипофиз *(клякса)*.

— ————————

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно с начала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского

доктор Борменталь.

VI

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

«Семечки есть в квартире запрещаю.

Ф. Преображенский».

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой Борменталя:

«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается».

Затем рукой Зины:

«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю — куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером».

Рукой Преображенского:

«Сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукой Дарьи Петровны *(печатно)*:

«Зина ушла в магазин, сказала, приведет».

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам,— зеркальные стекла были заклеены косым крестом от

одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:

> «Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом.
>
> ***Шв…р».***

Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц… све-е-етит месяц… светит месяц… Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу на ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в калошах»,— с неприятным чувством

подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне — тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

— Чем же «гадость»? — заговорил он.— Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить при-личные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спанье на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не сметь называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы… ты… вы посмотрите на себя в зеркало — на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни од-

ного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пес его знает!»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете,— вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человечке.

— Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаши» — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — Человек возмущенно лаял.— Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совер-

шенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип»,— пролетело у него в голове.

— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? — прищурившись, спросил он.— Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал…

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович.— Я вам не товарищ! Это чудовищно! — «Кошмар, кошмар»,— подумалось ему.

— Уж, конечно, как же…— иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу,— мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право…

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была раз-

валистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович.— И я не понимаю — откуда вы их берете?

— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся человек.— Видно, блохи меня любят,— тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

— Хм… Черт! Документ! Действительно… Кхм… а, может быть, это как-нибудь можно…— голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте,— уверенно ответил человек,— как же так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком…

— При чем тут домком?

— Как это при чем? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах ты, господи,— уныло воскликнул Филипп Филиппович,— встречаются, спрашивают… Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине.— Как это так «шляться»?! Довольно обидные ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя»,— подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с,— поспокойнее заговорил он,—

дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить… Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не нэпман.

— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это — раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа…

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? — По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением! Не забывайте, что вы… Э… гм… вы ведь, так сказать,— неожиданно явившееся существо, лабораторное.— Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по

плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака,— хмуро отозвался Филипп Филиппович,— я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Что-то не пойму я,— заговорил он весело и осмысленно.— Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес:

— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше

имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно,— человек усмехнулся,— когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— Четвертого марта празднуется.

— Покажите… Гм… Черт… В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головою.

— Фамилию позвольте узнать?

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как? Наследственную? Именно?

— Шариков.

* * *

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же,— заговорил Швондер,— дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм… зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.

— Гм… вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто… ну, одним словом…

— Это — ваше дело,— со спокойным злорадством вымолвил Швондер,— зародился или нет… В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

— И очень просто,— пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас,— огрызнулся Филипп Филиппович,— не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться,— обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал:

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да…», покраснел и закричал:

— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— «Сим удостоверяю»… Черт знает, что такое…

Гм… «Предъявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»… Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись — «профессор Преображенский».

— Довольно странно, профессор,— обиделся Швондер,— как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом,— неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли — мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжко раненный при операции,— хмуро подвыл Шариков,— меня, вишь, как отделали,— и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается,— ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо, не важно пока,— ответил удивленный Швондер,— факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и вам выдадут документ.

— Вот что, э...— внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой,— нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик»,— по-

думал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние четырнадцать лет! Вот — тип, я вам доложу…

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

— Боже мой, еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот,— сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не

было,— в бешенстве закричал Филипп Филиппович.— Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной проклятый черт сидит,— задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

— Убью на месте…

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот

сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, Господи Исусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть,— ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

— Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой.— Дарья Петровна, я же просил вас!

— Филипп Филиппович,— в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в

кулаки,— что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу… гм… сколько там пациентов?

— Одиннадцать,— ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.

— Гау! гау!..

— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю…— приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь.

— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое

окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович.— Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Защелкнулся я.

— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

— Да не открывается, окаянный! — испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду,— нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно,— в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите. Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу раскокал,— ответил Шариков,— а я стал его, подлеца, за ноги

хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду… гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды.

Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни.

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо — в противоположную уборную, направо — в кухню и налево — в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой,— пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Боится выходить,— глупо усмехаясь, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете в передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула…

— А когда же прием? — добивался голос за дверью.— Мне бы только на минуточку…

— Не могу,— Борменталь переступил с носков на каблуки,— профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут.

— Сейчас кружками вычерпаем,— отозвался Федор,— сейчас.

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула…

— Я бы в калошах прошел…

Синеватые силуэты появлялись за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан.

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна.— Выливай в раковину.

— Да что в раковину,— ловя руками мутную во-

ду, отвечал Шариков,— она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Все равно уже ноги мокрые.

— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное! — отозвался вдруг, Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты,— позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь,— ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков,— переводя дух, отозвался Филипп Филиппович,— я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы,— продолжал Филипп Филиппович,— просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете… Да нет! Это черт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста,— заговорил Борменталь,— сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь,— хмуро отозвался Шариков,— ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович,— вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил,— мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор.

— Покорнейше благодарю.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю,— Федор помялся,

потом сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только — за стекло в седьмой квартире… Гражданин Шариков камнями швырял…

— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.

— Черт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

— Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить,— послышался в дверях глухой голос,— да он сам…

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не сметь! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, уж это действительно,— многозначи-

тельно заметил Федор,— такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так...— добавил решительный Федор,— вот это так... Да по уху бы еще...

— Ну, что вы, Федор,— печально буркнул Филипп Филиппович.

— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

VII

— Нет, нет и нет! — настойчиво заговорил Борменталь,— извольте заложить.

— Ну, что, ей-богу,— забурчал недовольно, Шариков.

— Благодарю вас, доктор,— ласково сказал Филипп Филиппович,— а то мне уже надоело делать замечания.

— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

— Как это так «примите»? — расстроился Шариков.— Я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

— И вилкой, пожалуйста,— добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

— Я еще водочки выпью? — заявил он вопросительно.

— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь.— Вы последнее время слишком налегаете

на водку.

— Вам жалко? — осведомился, Шариков и глянул исподлобья.

— Глупости говорите…— вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил:

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы,— произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.

— И другим надо предложить,— сказал Борменталь,— и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот все у вас, как на параде,— заговорил он,— салфетку — туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожалуйста — мерси», а так, чтобы

по-настоящему,— это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

— А как это «по-настоящему»? — позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:

— Ну, желаю, чтобы все…

— И вам также,— с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

— Стаж,— вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

— Виноват…

— Стаж! — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой,— тут уж ничего не поделаешь — Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего полагать, уверен в этом.

— Неужели…— начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

— Später... [7] — негромко сказал Филипп Филиппович.

— Gut [8],— отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью.— Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

— В цирк пойдем, лучше всего.

— Каждый день в цирк,— благодушно заметил Филипп Филиппович,— это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр

---

[7] Примечания: 7
Позже... (*нем.*)

[8] Примечания: 8
Хорошо (*нем.*).

сходил.

— В театр я не пойду,— неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

— Икание за столом отбивает у других аппетит,— машинально сообщил Борменталь.— Вы меня извините… Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние… Разговаривают, разговаривают… Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.

— Вы бы почитали что-нибудь,— предложил он,— а то, знаете ли…

— Уж и так читаю, читаю…— ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина,— тревожно закричал Филипп Филиппович,— убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона…»

— Эту… как ее… переписку Энгельса с этим… как его — дьявола — с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими,— ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая…» А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…

— Так я и думал,— воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти,— именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ,— становясь словоохот-

ливым после водки, объяснил Шариков,— дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съежился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— Тридцати девяти человекам,— тотчас ответил Борменталь.

— Гм... Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело,— ответил Шариков, испугавшись,— это за что такое?

— За кран и за кота,— рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович,— тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает

по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто…

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице,— подлетел Борменталь.

— Вы стойте…— рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула,— взвизгнул Шариков,— у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули,— закричал Борменталь, опрокинув бокал,— вы стойте…

— Вы стоите на самой низшей ступени развития,— перекричал Филипп Филиппович,— вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить… а в то же время вы наглотались зубного порошку…

— Третьего дня,— подтвердил Борменталь.

— Ну вот-с,— гремел Филипп Филиппович,— зарубите себе на носу,— кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом

социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи,— испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь,— злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй… Чтоб я развивался…

— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского,— визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене.— Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина, там в приемной… Она в приемной?

— В приемной,— покорно ответил Шариков,— зеленая, как купорос.

— Зеленая книжка…

— Ну, сейчас палить,— отчаянно воскликнул Шариков,— она казенная, из библиотеки!

— Переписка — называется, как его… Энгельса с этим чертом… В печку ее!

Зина улетела.

— Я бы этого Швондера повесил, честное слово,

на первом суку! — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки.— Сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах…

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире»,— вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду ее есть,— сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк.

Только, ради бога, посмотрите в программе — котов нету?

— И как такую сволочь в цирк пускают,— хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают,— двусмысленно отозвался Филипп Филиппович,— что там у них?

— У Соломонского,— стал вычитывать Борменталь,— четыре какие-то… Юссемс и человек мертвой точки.

— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

— У Никитиных… У Никитиных… гм… слоны и предел человеческой ловкости.

— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные,— ответил Шариков.

— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушать-

ся надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила…» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек — извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем

комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике… Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталя и Шарикова из цирка.

VIII

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал доктора Борменталя.

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филип-

пович.— По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я, и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович.— Ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я или вы уйдете отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление и, поверьте, я вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда,— очень четко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги: зеленую, желтую и белую и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определенно в квар-

тире номер пять у ответственного съемщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин,— Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу, как новое: — Благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, vorsichtig… [9] — предостерегающе начал Борменталь.

— Ну, уж знаете… Если уж такую подлость!..— вскричал Филипп Филиппович по-русски.— Имейте в виду, Шариков… господин, что я, если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. Шестнадцать аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу,— за-

---

[9] Примечания: 9
осторожно (*нем.*).

бормотал он,— где же я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и доктор Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевшие на парадной лестнице и изъявившие

желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотою вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день...», дальше шла римская цифра XXV.

— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.

Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а — хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они ухитрились? — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты,— пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически от-

перся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

— А может быть, Зинка взяла…

— Что такое?..— закричала Зина, появившись в дверях как привидение, прикрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью.— Да как он…

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша,— молвил он, простирая к ней руку,— не волнуйся, мы все это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.

— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! — заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты — дура, прости господи,— начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук — не то

«и», не то «е» — вроде «эээ!». Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа три [по]полуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией.

— Филипп Филиппович,— прочувственно воскликнул он,— я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель… Мое безмерное уважение к вам… Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

— Да, голубчик мой…— растерянно промычал

Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

— Ей-богу, Филипп Фили…

— Так растрогали, так растрогали… Спасибо вам,— говорил Филипп Филиппович,— голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок… «От Севильи до Гренады…»

— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?..— искренно воскликнул пламенный Борменталь.— Если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом…

— Ну, спасибо вам… «К берегам священным Нила…» Спасибо… И я вас полюбил как способного врача.

— Филипп Филиппович, я вам говорю!..— страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор и, вернувшись, продолжал шепотом,— ведь это — единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать!

— Абсолютно невозможно,— вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

— Ну, вот, это же немыслимо,— шептал Борменталь,— в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

— И не соблазняйте, даже и не говорите,— профессор заходил по комнате, закачав дымные волны,— и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» — отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

— Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно,— горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. «От Севильи до Гренады… в тихом сумраке ночей…» Вот, черт ее возьми.

— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына… Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

— Тем более не пойду на это,— задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

— Да почему?

— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.

— Где уж…

— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите… Я — московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

— Филипп Филиппович, эх…— горестно воскликнул Борменталь.— Значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:

— Иван Арнольдович, как по-вашему, я по-

нимаю что-либо в анатомии и физиологии ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? — с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.

— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил Борменталь.

— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. Finita. Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном,— Клим,— повторил он.— Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету,— конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осел Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете — какое,— тут Филипп Филиппо-

вич горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву,— но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где — здесь,— Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее,— будьте спокойны! Если бы кто-нибудь,— сладострастно продолжал Филипп Филиппович,— разложил меня здесь и выпорол,— я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! «От Севильи до Гренады…» Черт меня возьми… Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов… Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

— Исключительное что-то!

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рявкнул Филипп Филиппович.— Да!

Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели — какого сорта эта операция. Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого! Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории Шариковской болезни. Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош… Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется… Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем

в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он? — Клим, Клим,— крикнул профессор,— Клим Чугунов [10] (Борменталь открыл рот) — вот что-с: две судимости, алкоголизм, «все поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) — хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! «От Севильи до Гренады...» — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович,— а не общечеловеческое. Это — в миниатюре — сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый.

— Вы великий ученый, вот что! — молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт после того, как два года тому назад впервые получил из

---

[10] Примечания: 10

В тексте расхождение. Выше фамилия Клима — Чугункин.

гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о господи... Доктор, передо мной — тупая безнадежность, я, клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне шестьдесят лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через десять дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Ша-

риков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

— Еще бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

— О нет, нет,— протяжно ответил Филипп Филиппович,— вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога не клевещите на пса. Коты — это временно… Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему не теперь?

— Иван Арнольдович, это элементарно… Что вы, на самом деле, спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Бормен-

таль сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил:

— Конечно[11]. Я его убью!

— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуйте…

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка… Мне шаги послышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

— Показалось,— молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

— Минуточку,— вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как

---

[11] Примечания: 11

В поздних авторизованных редакциях — «Кончено».— *Libens.*

от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то», упираясь, садилось на зад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. «Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините, ради бога,— опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.

— Что вы, доктор! Я запрещаю…

Борменталь правой рукой взял Шарикова за

шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться! — полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно,— прошипел Борменталь,— подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

— Ну-ну…

IX

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице… Вообража-а-ю. «От Севильи до Гренады», боже мой.

— Он в домкоме еще может быть,— бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников

в кооперативе семь рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно — что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку,

пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович,— начал он наконец говорить,— на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ».

— Так,— тяжело молвил Филипп Филиппович,— кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну, да, Швондер,— ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну, что ж, пахнет… известно: по специальности. Вчера котов душили, душили…

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович,— не беспокойтесь,— железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте,— сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе,— извините меня…

— Ну хорошо, повторяю,— сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

— …Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

— Прокофьевна,— шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна…— говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков,— …что я позволил себе…

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения…

— Никогда больше не буду…

— Не бу…

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович,— взмолились одновременно обе женщины,— вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет,— почтительно ответил Полиграф,— он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков,

блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно,— ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?

— На польты пойдут,— ответил Шариков,— из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталя.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великоле-

пия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной будет. Борменталя надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть,— крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее.

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду,— быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините,— сказал он,— профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу,— злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите.— Борменталь взял Шарикова

за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях,— рыдала барышня.

— Лжет,— непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал: — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения… Детка, ведь это безобразие… Вот что…— Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь,— плакала барышня,— в столовке солонина каждый день… и угрожает… говорит, что он красный командир… со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… каждый день ананасы… психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял…

— Ну, ну, ну,— психика добрая… «От Севильи до Гренады»,— бормотал Филипп Филиппович,— нужно перетерпеть — вы еще так молоды…

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают взаймы,—

рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец,— выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме,— вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на колчаковских фронтах ранен,— пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович,— погодите! Колечко позвольте,— сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно,— вдруг злобно сказал он,— попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его,— крикнул вслед Борменталь,— я ему не позволю ничего сделать.— Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот

попятился и стукнулся затылком о шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь.— Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова,— ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно,— взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь,— сам лично буду справляться в очистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы… узнаю, что сократили, я вас… собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков,— говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся…— пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно

неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил осунувшийся Филипп Филиппович.— Садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор,— ответил гость, ставя шлем на угол стола,— я вам очень признателен… Гм… Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович… питая большое уважение… гм… предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост…— Пациент полез в портфель и вынул бумагу.— Хорошо, что мне непосредственно доложили…

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду.

«…а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Бор-

менталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами,— или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор,— очень обиделся пациент и раздул ноздри,— вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я…— И тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович,— простите, я, право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал…

— Я думаю,— совершенно отошел пациент,— но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают…

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

* * *

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дула на лице Борменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам нужно,— и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня,— монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его, и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое, в самом деле! Что я, управы, что

ли, не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры,— задушевно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье

Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо,— робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ,— заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо.— Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо,— ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора… Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арноль-

дович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну, все… вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще, что… впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет…

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

Конец повести

Эпилог

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор,— очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил: — Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и,— человек покосился на усы Филиппа Филипповича и докончил: — и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

— По обвинению Преображенского, Борменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего я не понимаю,— ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи,— какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса… которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович.— Это еще не значит быть человеком.

Впрочем, это неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор,— очень удивленно заговорил черный человечек и поднял брови,— тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю,— приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке…

— Я его туда не назначал,— ответил Филипп Филиппович,— ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю,— растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру.— Это он?

— Он,— беззвучно ответил милицейский.— Форменно он.

— Он самый,— послышался голос Федора,— только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорил… кхе… кхе…

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

— Неприличными словами не выражаться,— вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла

суматоха, и в ней отчетливей всего были слышны три фразы:

Филиппа Филипповича: !Валерьянки. Это обморок».

Доктора Борменталя: «Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского».

И Швондера: «Прошу занести эти слова в протокол».

* * *

Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездою. Высшее существо, важный песий благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

«Так свезло мне, так свезло,— думал он, задремывая,— просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водо-

лаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть».

— ————————

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— «К берегам священным Нила…»

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги,— упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел:

— «К берегам священным Нила…»

Январь — март 1925 г.
Москва

[Из творческой истории повести «Собачье сердце»] [12]

‹…› Сюжет новой повести [«Собачье сердце»] не был всецело основан на блестящей выдумке писателя, как может представиться сегодняшнему читателю. С 1921 года научно-популярная печать только и писала об омоложении по методу австрийского физиолога Э. Штейнаха, занимавшегося пересадкой половых желез у млекопитающих.

В 1924 году вышел 2-й сборник статей под редакцией профессора Н. К. Кольцова «Омоложение», почти все журналы стали печатать статьи на эту тему, причем бойкость журналистского тона освещала изложение экспериментов поистине фантастическим светом. Так, автор одной из статей сообщал, что «оперировать стали даже маленькие небогатые города»,

---

[12] Примечания: 12

Фрагмент из послесловия М. О. Чудаковой в кн.: Булгаков М. А. Собачье сердце // Сочинения: Роман. Повести. Рассказы.— Мн.: Маст. літ., 1989.— С. 403—431.— *Libens*.

что оперируют «в далеком Ташкенте и маленькой Вотской области» [13]. Описывалось, как у оперированного животного «окрепли силы, стала светлее и блестящее шерсть, походка отчасти приобрела прежнюю эластичность, во рту появились даже новые белые зубы…» [14]. В другой статье сообщалось об опытах, якобы проделанных самим автором: «Оперировано: два врача, два студента… два интеллигентных пациента и два малоинтеллигентных (!). Такой подбор сделан умышленно, чтобы лучше разобраться в клинических проявлениях…» Далее приводились истории болезни, живо напоминающие историю болезни Шарика, которую в повести М. Булгакова ведет доктор Борменталь: «…Головные боли исчезли. Во всем организме чувствуется бодрость, свежесть и душевное спокойствие… Заметно выпадение волос, как седых, так и пигментированных…

[13] Примечания: 13

Василевский П. М. Новое об операции омоложения // Звезда. 1924. № 5. С. 195.

[14] Примечания: 14

Там же. С. 198.

Выпадение волос усилилось… Выпадение волос прекратилось… Волосы на голове, в затылочной области почернели, борода также заметно почернела» [15]. Это было в духе времени, когда победа не только над старостью, но и над смертью казалась достижимой. Эта проблема была поставлена еще в начале 20-х годов в ряд актуальных как в области науки, так и производства: «Что такое смерть? — думали в дни голодных пайков ученые… Быть может, на долгие века запомнит человек вот это наследство, оставшееся в науке от эпохи военного коммунизма… Пусть из этих, живущих отдельной жизнью желез будут созданы особые рабочие станки, специальные фабрики по омоложению и исправлению живых людей» [16].

На экранах появлялись научно-популярные фильмы об омоложении — сначала европейские, а потом и отечествен-

[15] Примечания: 15

Проф. Ш и п а ч е в. Пересадка половой железы в связи с работами проф. Штейнаха по омоложению и продлению личной жизни // Сибирские огни. 1923. № 1-2. С. 197, 199, 200.

[16] Примечания: 16

П о л т а в с к и й И. Наши ученые // Веч. Москва. 1926. 12 февр.

ный, в котором, как с удовлетворением сообщалось в печати, «засняты опыты не только с животными, но и с людьми, чем не могут пока похвастаться аналогичные германские фильмы» [17]. Отсюда было уже рукой подать до «похабной», по определению Шарикова, «квартирки» профессора Преображенского.

Хирургическая операция, произведенная профессором, привела к неожиданным результатам. Пытаясь разобраться в них, он берется за изучение краткого, но выразительного описания умершего, у которого был взят гипофиз для операции: тот трижды был судим и трижды оправдан — выручало «происхождение». Гротескная деталь — «в 3-й раз — условно каторга на 15 лет» — дорисовала облик существа социально опасного, но при этом — социально привилегированного.

Этого-то человека профессор «воскрешал» в Шарикове, на такой эффект не рассчитывая и не сразу его осознав. Если ассистент профессора испытывает вос-

[17] Примечания: 17
Жизнь искусства. 1924. № 34 (19 авг.). С. 24.

торг перед тем, что «скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу», то профессор очень скоро оценивает ситуацию иначе. Когда же под давлением обстоятельств он сам принимает участие в наделении этого существа социальными функциями, сознание личной ответственности за совершившееся со всей силой ложится на его плечи. И повесть катится к развязке.

Не Филипп Филиппович давал полноправную социальную жизнь Климу Чугункину, к ней отнюдь не готовому. Но Шарикову эту жизнь силою вещей дал он, и, наделенный тем даром, который каждому человеку вручен с рождения, сознает ли он это сам или нет,— свободой воли, герой Булгакова решается исправить содеянное…

Литературовед А. В. Чичерин рассказал недавно в своих воспоминаниях о поэтическом объединении «Узел», собиравшемся в 20-е годы в Староконюшенном переулке: «Михаил Афанасьевич Булгаков, очень худощавый, удивительно *обыкновенный* (в сравнении с Белым

или Пастернаком!), тоже приходил в содружество «Узел» и читал «Роковые яйца», «Собачье сердце». Без фейерверков. Совсем просто. Но думаю, что чуть ли не Гоголь мог бы позавидовать такому чтению, такой игре» [18]. Читал Булгаков свою новую повесть и в известнейшем в 20-е годы московском литературном кружке «Никитинские субботники». Долгое время считалось, что чтение это происходило в 1930 году, но удалось установить, что дело было много раньше, сразу по завершении повести (в рукописи дата: «Январь — март 1925 г.»), в марте 1925 года.

7 марта Булгаков читал первую часть повести. На чтение он пришел с Любовью Евгеньевной. Среди присутствующих 45 человек — М. Козырев с Адой Владимировой, София Парнок, Вл. Лидин, Вера Инбер. 21 марта он читал вторую часть. Здесь прозвучали весьма важные слова одного из слушателей, М. Я. Шнейдера: «Это первое литературное произведение,

[18] Примечания: 18
Чичерин А. В. Сила поэтического слова. М., 1985. С. 271.

которое осмеливается быть самим собой. Пришло время реализации отношения к происшедшему». Отметив «совершенно чистый и четкий русский язык», выступавший говорил о «силе автора», который «выше своего задания».

Известный в те годы беллетрист и критик Юрий Николаевич Потехин, вернувшийся вместе с А. Н. Толстым в Советскую Россию и быстро ставший активным деятелем Всероссийского Союза писателей (впоследствии безвинно репрессирован), говорил на обсуждении рукописи о месте Булгакова в литературном процессе, об обличительной силе повести: «Фантастика Михаила Афанасьевича органически сливается с острым бытовым гротеском. Эта фантастика действует с чрезвычайной силой и убедительностью. Присутствие Шарикова в быту многие ощутят». Этого и хотел, несомненно, достигнуть автор — описать конкретное социальное явление и показать его угрожающую обществу перспективу.

Потехин, приехавший в Москву из Берлина в августе 1923 года, бросил упрек

московским литераторам: «У нас к живым литераторам не умеют подходить. В течение полутора лет М[ихаила] А[фанасьевича] умудрились не заметить». Москвичи, как явствует из неопубликованного протокола заседания, который мы здесь цитируем, обиженно защищались (один из присутствующих отмечал, что «в «Никитинских субботниках» М. А. давно уже отмечен»).

На этом же обсуждении очень талантливым произведением назвал «Собачье сердце» историк литературы, внимательный критик, собиратель книг русских поэтов и библиограф И. Н. Розанов. По-видимому, вскоре после этого он и заполнил карточку на Булгакова для своего «Путеводителя по современной литературе»: «Булгаков Мих. Афанас. Совр. беллетрист, обладающий ярким сатирическим дарованием. В «Записках на манжетах» юмористически изобразил жизнь рус. литераторов в голодные годы. Из других повестей выдаются «Белая гвардия», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». В двух последних прибегает к фантастике в духе

Свифта». На карточке рукой составителя помечено количество строк, которые выделены им этому имени в «Путеводителе»,— «5 стр.». Но и эти строки увидеть в печати Булгакову не было суждено: карточка осталась в домашнем архиве И. Н. Розанова и благодаря любезности К. А. Марцишевской, вдовы литератора, впервые воспроизводится нами в печати. Она примечательна как моментальная фотография восприятия творчества Булгакова авторитетным литературным экспертом весной 1925 года.

И самим автором, и некоторыми из его слушателей повесть «Собачье сердце» ощущалась как канун гораздо более широких замыслов повествования о современности. Реализация их силою вещей отодвинется вскоре на несколько лет.

Ангарский [19] ознакомился с рукописью еще в середине февраля 1925 года. Вскоре, 25 марта 1925 года, М. Волошин написал ему из Коктебеля о только что

[19] Примечания: 19

Н. С. Ангарский — редактор литературно-художественных сборников «Недра», в которых увидели свет повести Булгакова «Дьяволиада» и «Роковые яйца».— *Libens*.

прочитанном им в «России» начале «Белой гвардии» Булгакова: «…Как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Толстого и Достоевского». Ангарский отвечал ему 20 апреля: «Булгаков прочел Ваш отзыв о нем и был весьма польщен. Я не согласен с Вами в оценке его романа: роман слаб, а сатирические рассказы хороши, но проводить их сквозь цензуру очень трудно. Я не уверен, что его новый рассказ «Собачье сердце» пройдет. Вообще с литературой плохо. Цензура не усваивает линии партии». Дальнейшие события подтвердили его опасения. 2 мая новый сотрудник «Недр» Б. Л. Леонтьев писал от имени Ангарского о задержке рукописи в издательских инстанциях. В этот день Н. С. Ангарский уехал в заграничную командировку, а 21 мая Леонтьев уже сообщал Булгакову: некто Сарычев «заявил, что „Собачье сердце“ чистить уже не стоит. „Вещь в целом недопустима“ или что-то в этом роде». Ангарский, однако, сдаваться не собирался, это видно из последующих писем Леонтьева, к счастью, сохранившихся

в архиве Булгакова. Они выразительно рисуют всю историю активных попыток Ангарского довести повесть до печатания, в необходимости которого он был уверен. Последняя его попытка была исчерпана, по-видимому, осенью 1925 года. 11 сентября Б. Леонтьев сообщал Булгакову: «Повесть Ваша „Собачье сердце“ возвращена Л. Б. Каменевым (с 1918 по 1926 год он был председателем Моссовета; Ангарский же был членом исполкома и мог обратиться к нему за помощью.— *М. Ч.*). По просьбе Николая Семеновича он ее прочел и высказал свое мнение: „Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя“». О характерной реакции Булгакова на эту категорическую устную рецензию можно судить по следующему факту. Полтора года спустя он написал пьесу «Багровый остров» и подчеркнуто, как мы думаем, дал ей подзаголовок — «Драматический *памфлет*». На сохранившемся рукописном титульном листе [20] — два эпиграфа. Первый

[20] Примечания: 20
Рукописный отдел Литературного музея. Ф. 127.

из них выписан из статьи «Памфлет» в любимом Булгаковым Энциклопедическом словаре Брокгауза — Ефрона: «Не предполагая в читателе никаких предварительных размышлений и сведений о данном вопросе, памфлетист обращается только к простому здравому смыслу». Если бы Булгаков имел возможность дискутировать со своим категоричным рецензентом, он, возможно, привел бы ему и другие строчки из той же энциклопедической статьи, написанной критиком А. Горнфельдом в 90-е годы прошлого века, например: «В России, при отсутствии политической жизни, почти отсутствует форма памфлета», и высказал бы, пожалуй, мысль, что оживление политической жизни должно непременно сопровождаться возрождением этой формы. Два года спустя, оспаривая в письме к правительству от 28 марта 1930 года мнение тех, кто объявлял «Багровый остров» «пасквилем на революцию», писатель решительно заявил: «Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком — не революция». Он стойко отстаивал пра-

во современного писателя и на сатиру, и на жанр памфлета. Указывая на прямой объект своего обличения, Булгаков протестовал против произвольного его расширения в демагогических целях. «Никакой контрреволюции»,— мог бы он повторить вслед за героем «Собачьего сердца» профессором Преображенским.— «Кстати, вот еще одно слово, которого я совершенно не выношу. Абсолютно непонятно — что под ним скрывается? Черт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность».

Здравый смысл — на нем-то и не уставал настаивать Булгаков. Он не выдавал его за самый высокий уровень умствования, но был уверен, что сойти с его почвы губительно. Выразителем этого здравого смысла и явился в повести Преображенский. Невозможно его оспорить, когда он кричит Шарикову: «Вы стоите на самой низшей ступени развития... вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо... и вы

в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости...»

Автор повести не брал на себя более того, чем он брал,— он не предлагал своих программ переустройства общества. Подобно Чехову, он только ставил диагноз, как ставил его в молодые годы своим больным. Он утверждал — нельзя, вернувшись к феодальной древности, сделать «происхождение» человека главным критерием его социальной дееспособности, снимая личную его ответственность. Он протестовал против сентиментального заискивания интеллигенции перед теми, кто наделялся атрибутами простого человека; в сущности,— от этого нового культа не выигрывал никто из членов общества. Не будем преувеличивать роли литературы в жизни общества — если бы повесть была своевременно напечатана, вряд ли она что-либо изменила, хотя, может быть, кого-то и отрезвила. Но важно отметить, что диагноз писате-

ля оказался точным. Многие ровесники Клима Чугункина, люди, всю жизнь гордившиеся отсутствием университетского образования и удачным социальным происхождением, подчеркивавшие эти пункты в своих биографиях, печатавшихся в газетах, ушли с общественной арены, оставив на местах своего хозяйничанья ту самую «разруху», о которой столь страстно говорится в повести.

Рукопись повести 7 мая 1926 года забрали при обыске (Л. Е. Белозерская рассказывает в своих воспоминаниях, как в тот момент, когда стали переворачивать кресла и протыкать их спицей, Булгаков сказал: «„Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю“.— И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный»). Мы предполагаем, что этот эксцесс имел отношение не столько к самому Булгакову, сколько к печатавшему его «Белую гвардию» редактору журнала «Россия» И. Г. Лежневу, у которого произвели обыск на другой день, после чего он был выслан на три года за

границу [21]. Для Булгакова же, насколько нам известно, событие прямых последствий не имело. После нескольких его заявлений в ОГПУ повесть была ему возвращена, и один из двух машинописных с собственноручной авторской правкой ее экземпляров, хранящихся с 1970 года в архиве М. Булгакова в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина,— именно тот, что удостоверяется надписью, сделанной рукой Булгакова синим карандашом (он любил делать пометки цветными карандашами) на первом листе машинописи.

В архиве Н. С. Ангарского, еще раньше оказавшемся в том же хранилище бывшего Румянцевского музея, по соседству с архивом Булгакова вот уже несколько десятилетий лежит под шифром ф. 9, 3.214 еще один, третий, экземпляр повести со следами авторской работы и с немногими редакторскими пометками того, кто шестьдесят с лишним лет назад так страстно стремился ее напечатать.

---

[21] Примечания: 21

См. об этом во вступительной статье к публикации главы из романа «Белая гвардия» (Новый мир. 1987. № 2. С. 140).

Рисуя в «Собачьем сердце» гениального экспериментатора-биолога, Булгаков отдавал дань первому — неосуществившемуся — варианту своей биографии. Работа медика всегда казалась ему «блестящей» (это было именно его слово). Но к середине 20-х годов его творческая мысль выходила уже за контуры и этой фигуры, и жанра сатирической повести о современности. Есть основания считать, что уже во время завершения повести «Роковые яйца» у Булгакова складывался новый обширный замысел: вслед за третьей повестью приступить ко второму роману. Неудача с «Собачьим сердцем», видимо, задержала реализацию замысла романа «Мастер и Маргарита» (в первой редакции, во многом отличной от последующих) на три года. Эти годы были отданы не прозе, а драматургии.

Сегодняшний молодой читатель прочтет некоторые страницы повести как обращенные к нему лично. «На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками» — эти слова

из «Собачьего сердца» можно было бы вывесить в виде лозунга или девиза в любом месте, где обучается молодежь. Внимательный читатель оценит и то, что профессор остается с Шариковым на «вы» вплоть до самой последней реплики, к нему обращенной. Его ассистент готов временами убить Шарикова, но на язык его не перейдет ни в коем случае. «Вот все у вас, как на параде…— обвиняет Шариков своих хозяев,— „извините“, да „мерси“, а так, чтобы по-настоящему,— это нет». Для Булгакова этот *парад* был существенно важен в его личном поведении: на нем он настаивал и в своем творчестве, иногда позволяя себе обращаться к читателю почти дидактически. Он был уверен, что сохранность важнейших опор общества в большой мере зависит от того, сумеют ли члены этого общества понять культурную ценность этого *парада*.

Многое оказалось угаданным Булгаковым, как это и бывает с большими художниками, на десятилетия вперед. Энергичные монологи профессора Пре-

ображенского о «разрухе», ее корнях, об общественной важности того, чтобы люди занимались в первую очередь своим делом, и сегодня бьют в точку. Повесть, пережив в 60—70-е годы вторую волну общественного интереса к ней, была опубликована в 1987 году, не утратив актуальности. ‹…›

Первые публикации [повести «Собачье сердце»] — в русскоязычных зарубежных журналах (ФРГ, Англия, 1968). Первое отдельное издание (наиболее исправное, восходящее к авторским рукописям, находившимся в то время у Е. С. Булгаковой): Собачье сердце. Париж, 1969.

Первая отечественная публикация — Знамя. 1987. № 6 — по тексту парижского издания с рядом текстологических изменений. Печатается по этому тексту с воспроизведением посвящения по авторским рукописям. При подготовке журнальной публикации повести администрация отдела рукописей ГБЛ отказала нам в просьбе сверить тексты по этим рукописям, ранее, в 70-е годы, нами же обработанным (см. об этом: Лит.

газ. 1987. 14 окт.).

В архиве писателя хранятся два автографа рукописи повести «Собачье сердце» (ГБЛ, ф. 562, 1.15—16. Машинопись с авторской правкой). Третья рукопись хранится в фонде редактора журнала «Недра» Н. С. Ангарского (Ф. 9, 3.214. с подзаголовком «Чудовищная история»).

Доктор филологических наук
М. О. Чудакова